

## ЗАМЕТКИ ЛИТЕРАТУРОВЕДА

# Писатель нашего времени

К 150-летию со дня рождения А.П.Чехова

(Окончание. Начало в № 12)

В эстетическом формулировании антропологического кредо Чехова совершенно особое место принадлежит рассказу «Студент» (1894), где авторская концепция человека возведена на философскую высоту, передана языком архетипа и мифопоэтики, посредством обращения к известному библейскому сюжету о той не уходящей из памяти человечества ночи в Гефсиманском саду, когда Иуда предал Христа, а апостол Петр отрекся от него в горькой надежде сохранить пожизненную верность Учителю. В четкости выявления основополагающих мыслей о мире, в глубине и ясности феноменологического контекста этого рассказа способны по-новому открыться многие стороны творческой позиции Чехова, особенно последних лет. Студент духовной академии Иван Великопольский глухой и нелюдной ночью возвращаясь домой, «думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрик, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при нем была точно такая же люта бедность... такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше», а о том, что не станет она и хуже, он думает уже в конце рассказа, приближаясь к дому.

Перелом в настроении Ивана Великопольского наступает благодаря дорожной встрече у ночного костра с двумя приподнявшимися огородниками: вдовыми матерью и дочерью: «Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, — сказал студент, протягивая к огню руки. — Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!»

Закончив рассказ о Петре, студент увидел, как «Василиса вдруг всхлинула, слезы крупные, избыточные потекли у нее по щекам», а выражение у Лукерьи «стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль». И эта способность простых женщин к восприятию страданий и боли людей из далекого прошлого, сопричастность к событиям многовековой давности, готовность пролить ответную слезу на горький плач «другого», укрепила героя в мысли о неразрывности времени на земле и во все времена сохраняющемся нравственном чувстве человека: «И радость вдруг заволновалась в его душе... Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывно цепью событий, вытекающих одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой». Действие рассказа происходит в двух разных временных пластах, но сливается воедино благодаря близости чувств, переживаемых Петром девятнадцать веков назад и слушательницами Ивана Великопольского. И если в начале рассказа мысль студента сосредоточена на темных сторонах бытия, где «ужасы были, есть и будут», то в финале она уже устремлена к тому, что способно придать ему равновесие, и герой уже «думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле».

Подступая к «неведомо-таинственной» диалектике земного бытия, остро ощущая несовершенство окружающей действительности, зависимость отдельного человека от общего ее неустойчивости, он не изымает из его личной жизни ни стремлений, «полных высокого смысла», как у Ивана Великопольского, ни осознания ответственности за свои поступки перед миром, каким полнится Мисаил Полознев из повести «Моя жизнь», убежденный, что «каждый малейший наш шаг имеет значение для настоящей и будущей жизни», ни бесконечной радости быть полезным всем встретившимся на жизненном пути людям, какую испытывает «душечка» Оленька.

Большинству героев Чехова, особенно позднего периода, свойственен особый дар бытия, удивительное умение испытывать всю полноту чувств, даваемых обычным повседневным течением жизни, когда ценят теплоту семейного круга, уверенность в спокойной старости, возможность найти приют и сочувствие разоренному человеку, когда

не исключены спонтанные вспышки счастья даже от неразделенной любви. И в том, что говорит в финале пьесы Соня Войничкому, пережив потрясение от громкого семейного конфликта — казалось, с непримиримой «разборкой» отношений и даже стрельбой, нет ни пессимизма, ни квиетизма, ни самопожертвования, а есть трезвое осознание именно «полной высокого смысла» жизни, где радость и счастье, неотрывные от терпения и труда, воспринимаются как философия существования, как креативная логика человеческого бытия: «Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный-длинный ряд дней, долгих вечеров, будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба; будем трудиться для других и теперь, и в старости, не зная покоя, а когда наступит наш час, мы покорно умрем и там за гробом мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и бог сжалится над нами, и мы... увидим жизнь светлую, прекрасную, изысканную, мы обрадуемся и на терпение наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой — и отдохнем. Я верую, дядя, я верую горячо, страстно...»

Сибирь с неохватностью ее просторов и неизведанностью природного мира если не пробудила в Чехове, то предельно обострила в нем способность видеть человека наедине с Бытием и сквозь опосредующую силу его воздействия воспринимать социальные обстоятельства, условия, среду. В послесибирский период в творчестве писателя все увеличивается тот ряд произведений, где акцентируется внимание на герою, способном ощущать искони свойственный человеку дар бытия, неизбывной полноты существования в Мире, когда в борьбе со страхом, тоской, скукой, одиночеством побеждает радость и счастье простой возможностью жить, просто жить, постигая тайну своего пребывания в мире.

Через состояние метафизического бунта, экзистенциальной сматенности проходит многие герои Чехова постсибирского периода. Повесть «Три года» (1895) в этом смысле предстает как одно из самых погруженных в глубину бытийственной мысли произведений Чехова, не отменяющих при этом его пристального внимания к характеру общественного строя человеческой жизни. В глазах прежних исследователей эта острая социальная фактурность повести заслоняла ее экзистенциальную векторность. Весь тот круг роковых вопросов, которые проходят через большинство произведений «просахалинного» периода — социальная и ментальная природа равенства-неравенства, отношения хозяев и работников, владельцев миллионных состояний и зависимых от них людей, поиски «правды и счастья» как отдельным человеком, так и народом, главный герой повести переживает не в отвлеченно-философском плане, а как фактор собственной биографии, личной жизни, своего ежедневного существования. В этом отношении он как персонаж отличается, например, от художника из рассказа «Дом с мезонином» или даже от Мисаила Полознева, который побывал в положении унижаемого и оскорбляемого работника, но не испытал участи раба, прикованного к миллионному состоянию. И проведя своего героя через многие жизненные испытания — смерть сестры, оставившей на его попечение двух девочек, страдания неразделенной любви, отчуждение ближайших родственников, отца и брата, неприязнь к «делу», к которому «не лежит душа», сомнение относительно своего права на не им нажитые «миллионы» — в финале повести писатель тем не менее не оставляет у Лаптева чувства напрасно и «не так» прожитой жизни, ощущения, что «все было не то», как это случилось с героем Л. Толстого в повести «Смерть Ивана Ильича». Как ни изъяслена внутренними противоречиями жизнь в доме Лаптевых, она течет по неизбывным законам вечности, приводя героя к мудрому приятию ее: на смену «плохому» приходит «хорошее», меняются лишь лики их. Теперь бремя (или все-таки «счастье»?) безответной любви суждено испытать его жене — Юлии Павловне, ответственность за миллионное дело от отца и брата перейдет к нему, а воплощением поступательного будущего предстанут две девочки: «Как они выросли! — думал он. — И сколько перемен за эти три года... Но ведь придется, быть может, жить еще тринадцать, тридцать

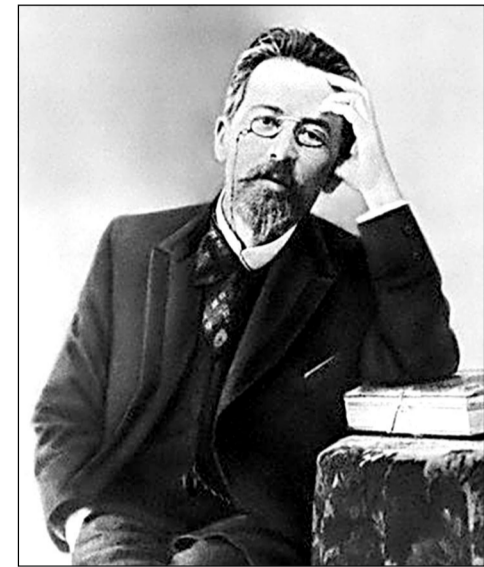
лет... Что-то еще ожидает нас в будущем! Поживем — увидим».

И вынесенная в самый конец повествовательного текста эта фраза «Поживем — увидим» в своей привычной для чеховских финалов модальности («быть может...») придает повести «Три года» четкую экзистенциальную завершенность.

Откликаясь на такого рода произведения, как «По делам службы», «На подводе», «В родном углу», «В овраге» и т.д., закончившая в штампованных тавтологиях критическая мысль по-прежнему видела в чеховском герое лишь жертву социальных обстоятельств, а в писателе неотступного обличителя торжествующей пошлости жизни, не в силах ощутить и осознать то, что художественная мысль писателя давно уже движется по орбите других представлений о природе человека. И если в героине рассказа «В родном углу» (1897) Вере Кардиной критике привиделся всего лишь «еще один с художественной правдой нарисованный портрет в обширной галерее русских женщин... с их неудовлетворенностью, тоской, разбитыми надеждами», то повествовательная логика рассказа с четко акцентированным финалом противится подобному суждению: разрушительной силе внешних обстоятельств противостоит способность героини подняться на высоту бытийственного мировосприятия, попросту слиться с бытием, раствориться в доверии к жизни как таковой: и «это постоянное недовольство и собой, и людьми... она будет считать свою настоящую жизнью, которая суждена ей, и не будет ждать лучшей... Ведь лучшей и не бывает!» И пережив, по Камю, «свой бунт», преодолев душевный кризис, привыкание к новой среде обитания, «выйдя замуж, она будет заниматься хозяйством, лечить, учить, будет делать все, что делают другие женщины ее круга», что делают, например, Соня Серебрякова или сестры Прозоровы.

Писатель не окрыляет героиню напрасными обещаниями легкого счастья, но и не лишает надежд на «хорошую» жизнь: свойственный его поздним произведениям характер повествовательной модальности («очевидно», счастье и правда существуют...») позволяет и читателю воспринимать жизнь как вечно длающую тайну не только какого-то «другого» мира, но и непосредственно окружающей «действительной жизни». Чехов предельно верен себе: с непоколебимым упорством противостоит он призывам внести в свои произведения дежурную «ноту бодрости и здоровья» в связи именно с ожиданием скорых и искусственно вызываемых перемен, да и не считает он жизнь своих героев неизбывно несчастной. Мотив превратности человеческой судьбы, один из частых и излюбленных в литературе, у Чехова предстает скорее даже не столько как закономерное выражение остроты социально-классовых противоречий, сколько как неотъемлемый фактор непредсказуемого течения жизни, воплощаемой как бытие, проявляясь вне зависимости от общественного веса, должностного или сословного статуса человека. Вот и хвабившую лиха в доме Цыбукиных Липу — как бы в подтверждение житейской философии плотника Костыля — коснулось целительное воздействие надличностных сил бытия. Формулирующий эффект мысли о несводимости «правды и счастья» к социальному фактору и в повести «В овраге» прибережен к финалу: «Шли бабы и девки толпой со станции, где они нагружали вагоны кирпичом... Они пели. Впереди всех шла Липа и пела тонким голосом, и заливаясь, глядя вверх на небо (подчеркнуто мною. — Л.Я.), точно торжествуя и восхваляясь, что день, слава богу, кончился и можно отдохнуть». А по дороге встретился выброшенный из дома старый Цыбукин: «Липа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть».

Живший в эпоху, когда концентрация утопического вещества в духовной жизни России начинала перевешивать ее подлинность, представляла как угроза ее национальной ментальности, Чехов не поддался ни силе ниспровергающего пафоса Горького, ни искушающему накалу проповеднической мысли Толстого, абсолютизовавшего магического власть простоты и естественности мужицкой жизни. И в момент наивысшего всплеска революционного нетерпения Чехов не поддался иллюзиям ско-



рых путей изменения жизни, ни на йоту не отступил от своих убеждений в первоисходной значимости труда — работы как фундаментального фактора и заповеданного свыше начала земного бытия. Объективно своего рода полемическим вызовом настойчивому призыву отдать приоритет созданию героя-бунтаря, мстителя, утвердить в литературе «потребность борьбы» предстает его позиция терпеливого преобразования жизни, противостоящая провокативному подталкиванию к «переделам», «перестройкам», «переворыванию». В этом убеждает одно из заключающих его сибирскую эпопею писем Суворину, в котором трудно не заметить признаков явной программности, прочно опирающейся на феноменологически-экзистенциальный фундамент его мыслей о мире и человеке, несомненно укрепленный сибирскими впечатлениями: «Хорош белый свет. Одно только не хорошо: мы. Как мало в нас справедливости и смирения, как дурно понимаем мы патриотизм... Работать надо (подчеркнуто мною. — Л.Я.), а все остальное к черту. Главное — надо быть справедливым, а остальное все приложится» (9 декабря 1890).

Сегодняшнего читателя привлекает неизмеримая глубина чеховского интереса к неизбывно вечным и одинаково свойственным каждому человеку психозитическим категориям человеческого существования — будь то скука, тоска, страх, страдание или со-страдание, терпение, любовь, творческие муки, определяющие плотную атмосферу его произведений и противостоящие настойчиво продвигаемой в кризисные моменты общественной жизни вере в одномоментные, насильственно-приказные способы управления миром, апофеозом которого неизменно является переворот. В фокусе длинного времени, испытанного многими поворотами земной истории, все с большей наглядностью выявляется истинность его художественной мысли, обращенной к пониманию человека как неразгаданного начала бытия, когда подверженность постоянным жизненным влияниям не противостоит неизменности его природы и, следовательно, сохраняют свое значение житейские формулы «работать надо» и «поживем — увидим».

Растянувшийся на целые годы писательский юбилей по-новому высветил масштаб творческого гения Чехова. И хотя как «наше все» он в российской культуре сравним только с Пушкиным, в мировом восприятии он превзошел и его. Здесь он сравним разве только с Шекспиром. Но если говорить о каких-то отличительных сторонах отшумевшего праздника, то значение его не только в том, что необыкновенно возбудилась и активизировалась читательская мысль о Чехове, но и в том, что юбилейное чествование как-то по особенному высветило и его человеческую суть, выявило не только неуязвимую силу его художественного творчества, но и ни с чем не сравнимую обаяние его личности, его человеческого «я», его человеческой индивидуальности, когда, выражаясь словами Достоевского, в образе автора предстал — в самом точном значении слова — «положительно прекрасный человек», в котором все так подлинно, естественно, органично, как и должно быть по замыслу Божьему, когда, действительно, все в нем прекрасно — и лицо, и одежда, и душа, и мысли. И в этой слиянности творческого мира Чехова с внутренним миром его человеческой личности кроется, должно быть, одна из многих тайн читательского притяжения к нему как писателю, не только у нас в России, но и во всем мире.

Л.П. Якимова, главный научный сотрудник Института филологии СО РАН, д.ф.н.